

Сергей Каледин
Черно-белое
кино

Сергей Каледин
Черно-белое
кино

Рассказы



издательство **АСТ**

Москва

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
К17

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Каледин, Сергей
К17 Черно-белое кино : рассказы / СЕРГЕЙ КАЛЕДИН. — Москва : АСТ : CORPUS, 2013. — 336 с.

ISBN 978-5-17-080486-3

Литературный дебют Сергея Каледина произвел эффект разорвавшейся бомбы: опубликованные “Новым миром” повести “Смирненное кладбище” (1987; одноименный фильм режиссера А. Итыгилова — 1989) и “Стройбат” (1989; поставленный по нему Львом Додиным спектакль “Гаудеамус” посмотрели зрители более 20 стран) закрепили за автором заметное место в истории отечественной литературы, хотя путь их к читателю был долгим и трудным — из-за цензурных препон. Одни критики называли Каледина “очернителем” и “гробокопателем”, другие писали, что он открыл “новую волну” жесткой прозы перестроечного времени. “Меня интересовал человек с неразработанным голосовым аппаратом, который сам о себе ни рассказать, ни написать не может”, — объяснял писатель, почему героями его становились весьма непривычные персонажи. Эту же линию продолжали и следующие книги Каледина. В “Черно-белом кино” рассказываются невыдуманные истории невыдуманных людей, с которыми судьба тем или иным образом свела писателя. И рассказываются они в лучших традициях русской классики.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-080486-3

© С. Каледин, 2013
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2013
© ООО “Издательство АСТ”, 2013
Издательство CORPUS ®

Содержание

<i>Людмила Улицкая. Вместо предисловия</i>	7
Третья полка в итальянском вагоне	13
Соседка	31
Почему я живу в деревне	47
Садовые товарищи	59
Томочка	80
Кроха	92
Маки на Монте-Кассино	108
Три двадцать в кассу, господа!	125
Чехол для люля	144
Ингерманландка	163

Аллея Руж	182
Толмач	220
Авиатор	244
Родные, прощайтесь	257

<i>Екатерина Данилова. “Каледин придумал новый жанр...”</i>	<i>285</i>
---	------------

Вместо предисловия

Большее двадцати лет тому назад в журнале “Огонек” вышел мой рассказ, один из первых в моей жизни. Спустя несколько дней мне позвонил известный писатель, автор замечательной повести “Смирненное кладбище” Сергей Каледин и сказал:

— Мне понравился твой рассказ, а у тебя еще есть?

— Есть, — ответила я.

— А где ты живешь? — спросил Каледин.

— На Аэропорте, — ответила я.

И через двадцать минут Сергей Каледин сидел на кухне и пил чай. Моя первая книга на русском языке с легкой руки Сергея вышла через два года.

Когда меня спрашивают, кто мои учителя, я всегда отвечаю: Сергей Каледин. Я действительно очень люблю этого писателя за его редкий слух к живому языку, его переливам, поворотам, шероховатостям. Видение и слышание жизни, полное отсутствие нравоучительности, добродушное остроумие и незлобивое хулиганство — чудесные обаятельные черты его прозы. И его личности. Две ипостаси одного человека — писательская и человеческая — полностью слиты, и оттого рождаются и искренность, и полнота. Может, высоколобый кри-

тик не найдет в произведениях Каледина второго слоя, той глубины содержания, которое открывается только при исследовании текста структуралистами, лингвистами и прочими профессорами, получающими свои ученые степени, до атомов разбирая зубодробительные тексты.

Сергей Каледин — мой учитель: он дал мне прекрасный урок отзывчивости и щедрости. Его телефонный звонок в конце 80-х научил меня хорошему профессиональному поведению: многие годы, выезжая за границу для встреч с издателями, я таскала из России чужие книги и чужие рукописи. Иногда из этого выходил прок.

Прошло много лет — Сергей Каледин не меняется, он все тот же парень, который несется помогать друзьям, сражаться с несправедливостью. Он верный, щедрый и предвзятый. И никогда не стремится к объективности. Да к черту эту объективность! Перед нами книга, в которой все про любовь к жизни во всех ее проявлениях — к родственникам и соседям, к друзьям и прохожим, к ушедшему времени и его атрибутам. И ни капли объективности! Спасибо, Сережа!

Людмила Улицкая

Черно-белое кино

Жизнь моя, кинематограф,
черно-белое кино!

Ю. Левитанский

Третья полка в итальянском вагоне

... И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!

А. Блок

Инга Фельтринелли давала бал. Экстравагантная, шумная, не совпадающая со своим возрастом, в короткой юбке, на высоченных шпильках, с бокалом в одной руке и сигаретой в другой, она встречала гостей. Народ шел отборный: белозубый, звонкоголосый — богатый. Малой причиной сабантуя был и я: весной 90-го Инга издала “Смирненное кладбище” и осенью позвала на презентацию в Италию. Над озером летали метровые в распахе крикливые чайки. Ждали давнюю товарку Инги — вдову Ренато Гуттузо, точнее — последнюю его любовь. Подоспела и она. В открытом авто, за рулем. Те же дела: короткая юбка, каблуки, шелковый жакет на крючочках, по-над левой грудью изумрудная брошь, громкий мяукающий голос. Инга поманила меня сухопарой лапкой с фиолетовым маникюром, я поцеловал гостье ручку и попытался прикинуть, сколько ей лет, но ариф-

метика не работала. Инга тщилась на всех языках вовлечь меня в разговор, но плюнула на это дело и приспособила ко мне переводчицу, молодую, старательную, но некрасивую, в дурных очках, Клаудию, Клаву.

Инга сказала вступительное слово. Я в это время отлеплял от подошвы обрывок ремонтной квитанции, замеченный в зеркальном полу ресторана моим редактором, соседом по столику Франческо Каталуччо, тишайшим благодушным гигантом, полонистом в работе и в жизни: Патриция, его невеста, — четвертая за нашим столиком — миниатюрная красавица с длинной как у паненки косой, была активисткой “Солидарности”, подругой легендарного Адама Михника. Я рвался к ним в душу, но они лишь трохе разумели по-русски через польский. Прозвучала моя фамилия — Инга жестом показала: приподымись. Мне похлопали, и вступила музыка. В центре зала соткалась пара — блондинка в голом платье и усатый красавец, похожий на грузина, — танцоры для завода гостей. Народ уже попил-покушал и потянулся плясать. И я, раздухарившись, пригласил Патрицию. Но она переадресовала меня к Инге. До такой фамильярности я еще не созрел и вытянул на танцплощадку “вдовицу” Ренато Гуттузо. На крутых виражах она по-девчачьи ойкала и легкими жестами, как мух, на всякий случай отгоняла приближающихся. Инга что-то крикнула старшему оркестра, и тот добавил музыке прыти. Я вошел в раж, крутил побледневшую партнершу по солнцу и против и под конец захватил ее борцовским смычком — спина к спине... Раздался треск крючков — изумрудная брошь сорвалась с насиженного места и, цоккая, поскакала по зеркальному полу. Распахнутая “вдова”, прикрываясь как в бане, томно смутилась, народ ликова.

Инга догнала брошь, помогла подружке восстановить порядок. И присела за наш столик, похлопала меня по плечу: “Браво!” Мы выпили. Пользуясь случаем, я предложил ей купить у меня и “Стройбат”: тема гадостная, хуже кладбища, вдобавок “Стройбат” долго был в запрете. Но Инга на провокацию не повелась: хватит с тебя и “Кладбища”, не наглей. Чао, бамбино!

На следующий день по утренней росе я в одиночку на электричке поехал из Милана в Турин к директору издательства “Эйнауди”, которому меня в Москве рекомендовал Евгений Михайлович Солонович, знаменитый переводчик с итальянского, лауреат премии Данте. Директор был на месте, мне не удивился, позвонил в Москву Солоновичу... И вечером я вернулся в Милан с договором и авансом. Теперь вперед! Эввива, Италия ла белла!

Быть в Италии без языка — беда. Паузы в культурных мероприятиях Клава заполняла магазинами, от которых я отбрыкивался четырьмя копытами. Клаву это удивляло и обижало: если я плохо одет и у меня есть деньги, почему я не хочу быть хорошо одетым? Если просто жмусь — почему не хочу хотя бы посмотреть! Меня же интересовали пустяки: как итальянцы живут, чего хотят, чем дышат? Я всю дорогу понуждал ее общаться с населением: прохожими, студентами, продавцами на рынках, полицейским... На полицейском она забастовала в голос. Я плюнул, подошел к карабинеру и дружественно постучал пальцем по кобуре, призывая к разговору. И чуть не получил рукояткой нагана по башке. Короче, Клава страдала, но терпела. О том, что у нее ко мне есть корысть, я понял позже.

В обход маршрута, который составила Инга, она повезла меня в деревню к дяде-священнику. Мне полегчало

от одного слова “деревня”, хотя по сути это был крохотный старинный городок с церковью посредине, неработающим фонтаном, булыжными кривыми улочками. Стены домов до черепичных крыш были облеплены плющом, захватывающим фигурки флюгеров.

С пологого склона, покрытого виноградниками, спустилась скрюченная бабка. Она погоняла осла, нагруженного хворостом. Вот она, моя Италия! Только рогатых скотов не хватает. Ан нет! Парочка чистеньких буренок паслась на травке перед виноградниками, глухо позвякивая колокольцами, похожими на сплюснутые маленькие кастрюльки.

Падре Лучано не было — он причащал больного в соседней деревне. В его просторном распахнутом доме он встретил огромный ворон с кольцом на мощной лапе. Он вразвалочку, приволакивая крыло, бродил по длинному столу в кухне между бутылок, несуетно поклевывая крошки.

— Покакал, — хрипло сообщил ворон.

Я посмотрел — действительно покакал.

— Дай ножку, — попросила Клава.

Ворон протянул окольцованную лапу, как дама для поцелуя.

На серебряном разрезанном кольце стертая гравировка “спаси и сохрани”. Такое же колечко было и у Веры Борисовны Бахматовой, старосты церкви Покрова Божией Матери под Можайском, где в конце 80-х я работал истопником. Вера Борисовна мечтала, чтобы и у меня было такое же кольцо, когда я наконец покрещусь и повенчаюсь с женой. У нее был свой несокрушимый резон: “Машина у тебя дряблая. Не приведи Господи, разобьешься на саше — мне помолиться некому: у тебя ангела нет на небесах”.

Вскоре на велосипеде в сутане прикатил падре Лучано. Переоделся — здоровенный загорелый старик в джинсах — и сразу повел в подвал слушать молодое вино. Я приник ухом к необъятному дубовому брюху трехметроворостой бочки: внутри шевелилось вино — булькало, вздыхало, мурлыкало...

У себя на даче я тоже занимался виноделием. Дом был заставлен — не пройти — разноцветными ведерными бутылками с плодово-ягодным вином. Пузатые емкости тянули вверх раздутые резиновые руки. От запаха у меня кружилась голова и не слушалась разума. Среди ночи я вскакивал, будил жену: мне казалось, что вино замолчало — перестало бродить. Мы терли бутылкам бока, как обмороженным, натягивали на них кофты, телогрейки.

У входа в церковь висела памятная доска односельчанам, погибшим в 40-х на русском фронте. Парты были сдвинуты к стенам, на каменном полу толстым слоем сушились распухшие восковые початки кукурузы, касаясь щиколоток Христа на распятии. Немолодая красивая синьора деревянной лопатой шерудила урожай. Падре приобнял ее за плечи.

— Консортё? — с умным видом поинтересовался я. — Супруга?

Падре опешил, вопросительно посмотрел на племянницу: кого привезла? Клава покраснела: “Дядя — католический священник”.

Чтобы снять напряжение, я рассказал про свою работу в церкви.

Однажды после службы, когда все церковные разъехались, Вера Борисовна всполошилась: “Сере-ежка!.. Беги



*Настоятель Храма Покрова Божьей Матери
в селе Алексине под Можайском Владимир Васильевич
Шибает и староста той же церкви Вера Борисовна
Бахматова, конец 80-х годов.*

в алтарь — огонь забыли!.. Сама бы потушила, да бабам в алтарь нельзя”.

Я понесся в церковь, занес ногу в алтарь...

— А ты креще-енный?!

Я замер.

— Господи! Батюшка узнает — выгонит. — Вера Борисовна отстранила меня, перекрестилась больше нужного и, пригнувшись, юркнула в алтарь.

— Батюшка приедет — пожалуй, как ты в алтарь шастаешь. — Это Шура, нищенка-полудурка, которую Вера Борисовна спасла от голодной богадельни, приютив у себя в сторожке, и которая теперь отравляла ей жизнь, ибо стала батюшкиным шпионом.

— Ты еще и матушке пожалься, — передразнила ее Вера Борисовна. — Ступай отседова, Шура! Не доводи до греха. Мне с тобой бодаться не-под года.

Ворон был сердит. Я протянул ему русскую монетку, он незаинтересованно отвернулся. Потом резко цапнул ее и проскрипел: “Грация”. Ворон прилетел сюда с обозом казаков генерала Краснова. Охотясь на партизан, казаки старались местных не трогать. Когда в конце войны казаков выводили из Италии, ворон остался в деревне: ему повредила крыло собака, он стал пешеходным и лететь за своими не мог.

Падре Лучано, радостно потирая ладони, приступил к главному — достал тетрадь: воспоминания про казаков. В значке у него хранились еще записки адъютанта Крас-

нова, но эту рукопись он пока не показал. Падре хотел, чтобы я, родственник атамана Каледина, занялся историей генерала Краснова. Племянница переведет, я издам в России, потом в Италии — мы все прославимся. Я отказался: про казаков уже написал Солженицын в “ГУЛАГе”; кроме того, атаману Каледину я всего лишь однофамилец. Падре Лучано обиделся на меня и даже не повел показать трактир, в котором квартировал сам Краснов.

По дому падре Лучано с шумом, по-русски, носились разнокалиберные дети. Я, забыв про “супругу” в церкви, чуть было не спросил его:

— Ваши?

Но Клава меня вовремя опередила:

— Дети пришли на занятие по катехизису.

Она уже охладела ко мне и следующей ночью в Венеции сидела в гондоле нахохлившись. Я попросил гондольера, великовозрастного Ромео, сплавить на широкую воду и подкрепил просьбу денежкой. Мы выбрались на простор и поплыли по Большому каналу. Подсвеченные волшебные дворцы по сторонам казались игрушечными. Мы прижались к берегу. Сказка отражалась в спокойной воде. Редкие ночные катера поднимали невысокие волны, длинные усы которых беспрепятственно разливались по мраморным полам пустых вестибюлей. Так не бывает!

В билет входили неаполитанские песни. Где вокал?

Клава сварливо заметила, что я веду себя неделикатно, но вопрос перевела.

— О’кей, — кивнул “Ромео” и развернул нас навстречу песням.

На водной глади перед пристанью под прожекторами скупилась стая лодок, как на собрание. Певец запазды-

вал. В гондолах начался ропот на русском языке. Наконец из дальнего каналаца вынырнула шустрая лодочка и помчалась к нам. В ней стоял, держась руками за специальные поручни, низенький толстый лысоватый мужичок в поношенном черном костюме с галстуком, очень серьезный и торжественный. С места в карьер на всю акваторию он грянул “Санта Лючию”. Да так вдохновенно, что под конец, раскинув руки крестом, чуть не выпал за борт.

Весь следующий день я ходил по городу один и набрел на совершенно сухопутную Венецию. Морем не пахло. В пыльном, выжженном солнцем дворе расхристанные мамы пасли молодняк. Иногда они изымали приплод из колясок и, не стесняясь меня, по-цыгански, кормили грудью. Бездельные пацаны гоняли в футбол. На воротах стоял толстый мальчик в очках. И меня дворовые хулиганы в детстве за жир ставили на ворота, пока бабушка Липа не пресекала безобразия. Мужики шумно играли в карты. На задворках на кирпичах вместо колес догнивал ржавый “фиат”. Из качелей вывалилось дитя и заорало. Толстая мама, ругаясь, поспешила на помощь. Из верхнего окна высунулся мужик в майке, свистнул картежникам и, корча страшные рожи, стал отчаянно жестикулировать, тыкая пальцем за спину, где мелькало злое женское лицо. Кинул деньги. Мужики подобрали взнос и подались за вином. Боги мои, где я?! Дома? В детстве? В 1-м Басманном? Или “Амаркорд” везде одинаков?

Во двор металлическим боком выходила автомастерская; я подошел посмотреть, как работают итальянцы. Слесарь в желтом комбинезоне улыбнулся мне: какие трудности? Никаких, я пожал плечами. Рядом пожилая синьора с сумкой, из которой торчала зелень, набирала

код подъезда, но вдруг стала оседать. Я подхватил ее, опустил на землю — и к мастеровым: воды, телефон, “скорую”! Все обошлось, тетя очухалась. Слесаря накатили мне вина, спросили, не нужно ли чего? Как не нужно! Все нужно! В Москве голяк! “О-о! Мо-оска! Москва!..” Мне подарили б/у-шные камеры, карбюратор, шаровые опоры. И, расщедрившись вконец, выкатили две почти новые покрышки...

Отвальную в Милане я намеревался устроить в ресторане, но Франческо Каталуччо окоротил мою борзость: “Для чёго выдавачь пенёнзы?” Пьянку устроили у него дома. Над письменным столом, за которым гуляли, висели фотопортреты — польский Папа и пожилой строгий дядька в кепке, похожий на рабочего, — писатель Витольд Гомбрович.

В Париж я уезжал злой: хотел в последний день хоть краем глаза взглянуть на обещанную “Тайную вечерю”, а Клава обманом загнала меня на крышу Миланского собора. Мы поругались. Провожал меня Франческо. Проводник наотрез отказался впустить багаж. Франческо надоумил: дай денег. Мы с трудом втащили тюки в купе, соседи сдержанно роптали. Франческо сверил мое место с билетом, билет ему чем-то не понравился. Поезд бесшумно тронулся.

— Ключ под вытерачкой! — крикнул вдогонку странные слова Франческо.

Я выпил сонную пилюлю и рухнул в люлю.

С детства я мечтал познакомиться с Богом. Дома его не было, в школе тем более, а позже мне было не до него.

Потом стал жить на даче. Неподалеку церковь. Много лет я ходил вокруг нее, а когда заглядывал внутрь, ничего не понимал: служба шла в основном не по-русски. Осенью 86-го ехал я с дачи в Москву. Возле станции “Партизанская” знакомая старушонка в черном волокла две сумы.

— Что невеселая, Вера Борисовна, кто помер?

— Батюшка новый кочегара моего Сашеньку Иглицкого выгнал. Вишь ты, еврей он ему оказался! А Иисус-то наш Христос татарин, что ль, был? Вот мороза вдарят, котлы встанут, фрески посыпятся! Сыщи ты мне, Сережка, в Москве мужичка какого-нито завалиющего в кочегары, хоть слабоголого...

Вера Борисовна везла гуманитарную помощь отцу Владимиру, предыдущему батюшке, изгнанному из церкви за отказ отпевать усопшее руководство страны. Отца Владимира запретили в служении — вывели за штат, а теперь и вовсе взяли за горло: или в тюрьму, или за рубеж — на выбор.

В Москве я стал активно искать кочегара, но безуспешно — подходящие мужички перевелись. Прикинул: а ведь я сам Богом интересовался. И поехали мы с Верой Борисовной в Рузу оформляться. Там опешили: такой здоровый — и в сторожа? Но Вера Борисовна отстояла мою кандидатуру: “Он только с виду полный, а так — малохольный”. Я дал подписку, что не буду “принимать участия в религиозно-церковных отправлениях”.

Прижился я быстро. Чтобы не одичал в пустой деревне, Вера Борисовна стала потчевать меня балдой — вином из прокисшего варенья, настоянном на распаренном пшене. Балда была хороша, почти без градусов и придавала нашей одинокой жизни усадебно-помещичий привкус.

Вера Борисовна показала, где хранит церковную черную кассу — в трехлитровой банке в кадушке с квашеной капустой. Случись чего — отдать заместительнице, никому другому. Я донимал ее: “А если бандюган объявится: давай деньги — убью!” Вера Борисовна злилась на мое скудоумие: “Он же не дурак! Знает: не дам. Поорет — уйдет. Ты, главное, не разболтай”.

Тогда я стригся наголо и с бородой походил на чечена — все было нормально, а тут недоглядел: оброс, и волосы на висках стали предательски завиваться в пейсы. Вера Борисовна насторожилась: не иудей ли я часом? Я виновато шевельнул головой — в четверть кивка — соответственно четверти моей еврейской крови. Вера Борисовна схватилась за голову: “Батюшка узнает — выгонит!..” Но устрашаться надолго она не умела — мы благополучно служили дальше.

Прошло время. Отец Владимир уже жил во Франции. След его затерялся. Веру Борисовну за ревностное служение выгнали из церкви. Она в грустях доживала свой век в хибаре на станции Силикатная. Из радостей жизни, кроме Бога и фотографии отца Владимира — она висела рядом с иконой, — у нее осталась правнучка Мананка, нажитая внучкой от залетного кавказца. Вера Борисовна поговаривала о смерти: чтоб все было тихо, без мучений, не хлопотно — очень уж устала от жизни. А более всего мечтала о встрече с Ним.

Меня напечатали, перевели, стали приглашать за рубеж. И Вера Борисовна решилась: попросила меня разыскать отца Владимира. Старухи снарядили мне подарки:

полотенчики, вышивки, сало... Вера Борисовна затолкала в баул небольшой самовар: “Спроси от нас: может, вернется? Зябка без него”.

— Паспорт!

Я продрал глаза: люди в форме, рожи злые, тычут фонарем... Война!

Дрожащей рукой я нашарил паспорт, стал натягивать штаны.

— Во ист швайцер виза?!

— Зачем — швейцарская?! Я в Париж еду!

Пограничник врубил свет. Он стучал пальцем в паспорт, потом потянулся к кобуре. Соседи глядели на меня, как на врага.

— Геен зи ауз! Шнель! Вон из вагона!

— Не понял?.. — Но уже понял: не так поехал. Покупал билет я сам, без Клавы, кассирша дала подешевле — через Швейцарию.

На неверных ногах я потянул к выходу неподъемную поклажу, лямки оборвались, затрещал брезент... Свирепые погранцы брезгливо выкинули мой багаж — крышка покскакала в темноту по мокрому перрону. Поезд бесшумно покотил в Швейцарию. Подарочный самовар, втягивая битый бок, блестел под фонарем. Приехали! Станция Домодоссалла.

Станционный смотритель, пожилой итальянец, взирал на мой изгон с сочувствием, помог собрать порушенный багаж, повел пить кофе.

На следующий день я приплелся в издательство “Фельтринелли”. Но Инга ко мне не вышла, она меня разлюбила.



Храм Покрова Божьей Матери в селе Алексине.

За издательскую измену, о которой ей донесли незамедлительно. Франческо в редакции не было.

Я стоял в шикарном предбаннике издательства неммым немытым просителем, охрана намекнула, чтобы подался с вещами на выход. И вдруг я вспомнил: “Ключ под вытерачкой”.

Франческо Каталуччо! Посланник Божий! Знал, что меня, скорее всего, заворотят на границе, — оставил ключ под ковриком. Приютил, невзирая на гнев начальницы.

И снова поехал меня провожать, чтобы самолично купить билет в объезд злополучной Швейцарии. Однако, тпру-у!.. Забастовка железнодорожников! Кассы закрыты. Но меня чудом узнал первоначальный проводник, вернувшийся уже из Парижа, и, взяв деньги, определил к товарищу в правильный поезд. Тот рассредоточил багаж по отсекам, чтоб не дразнить гусей, и пустил на третью полку.

Милая Франция! Дом родной. Здесь я бывал. Первый раз верхом на “Кладбище”, которое издало серьезное издательство “Сёй”, и потому визит был довольно церемонный. Зато второй раз я гулял по Парижу в полный мах: “Стройбат” купила у меня бывшая бунтарка, троцкистка, маоистка — короче, революционерка Марен Сель для своего доморощенного издательства. Муж Марен, богатея, летал два раза в неделю в Тулузу, где у него были заводы калийных удобрений. Жену обожал, безоговорочно поддерживая все ее начинания, из последних — усыновление двух детей из Чили и с Тибета. Поселила меня Марен в старинной квартире своего деверя в Латинском квартале. Квартира была бесконечная, с черной вековой матицей под высоченным потолком толщиной в полметра, с камином, в который я входил, почти не сгибаясь. Настроение было

праздничное: 89-й год, по телевизору расстреляли Чаушеску — я ликовал: началось!.. Деверь был моих размеров. Марен, отменяя предрассудки, разрешила мне пользоваться его гардеробом. Но пользовался я только роскошным голубым халатом и очень удобными разношенными кроссовками. Сам деверь в это время путешествовал вокруг света на яхте с товарищем, мускулистым красавцем, фотографии которого висели в квартире повсюду, даже в туалете. Потом я узнал, что деверя с товарищем снял с яхты медицинский вертолет — оба-два были в коме. СПИД. В то время СПИД лечить не умели. Многие месяцы потом я ждал, когда он через кроссовки и халат накроет и меня.

Третий раз я был во Франции с культурной программой. Мне предложили месячную поездку по Франции — куда хочу. Я набрал полную колоду: тюрьма, завод Пежо, богадельня, сумасшедший дом, ферма.. Сопровождала меня опытная переводчица, очаровательная Каталина Бэлби. На первых порах я говорил, она переводила. Потом поняла, с кем имеет дело, и переводила без моего участия, ибо уже лучше меня знала, что я имею сказать.

Директор тюрьмы хвалился своей вотчиной. В одном зале практически обнаженные рецидивистки занимались аэробикой. Я попросил разрешения сфотографировать их. Они навели марафет — пожалуйста. В соседнем зале не менее пикантные преступницы исполняли томные восточные танцы. Директор тюрьмы — доктор психологии — предлагал мне для творчества на пару дней комфортабельную одиночку, правда, на мужской половине.

Попечитель провинциальной богадельни звал к себе — в тихий приют, где старикам к обеду положен графинчик вина. То же — и в дурдоме. Зря отказался! Директор за-

вода Пежо дал мне свою визитку: пообещал отпустить мне по себестоимости классное авто. А пожилой фермер после застолья, на ночь глядя, усадив меня за руль колесного трактора, повлек смотреть свое новшество — косматых низкорослых коров, которые круглый год паслись на пленэре, охраняемые лишь проволокой под малым напряжением. Как же тогда принимали нашего брата! Моска, Раша, Перестройка!.. И вино, вино!.. Благословенные времена! Мисюсь, где ты?

Багаж я оставил у Марен, а сам пошел на Рю да Рю, где главный православный собор. Отец Владимир? Шибает? Живет в Мюлузе, у него там приход. Телефон? Пожалуйста.

На перроне Мюлуза меня встретил веселый, легкий парень на красном японском мотоцикле — сын отца Владимира, с серьгой в ухе и синим петухом на голове.

— Как жизнь, ирокез? Все живы-здоровы?

— Мама с Лялькой в Германию поехали. — Он ткнул пальцем в невысокую зеленую гору впереди. — В гости.

— А сам учишься или груши околачиваешь?

— Я инструктор по горным лыжам. — Он застегнул на мне шлем и опустил забрало, прекращая пустые разговоры.

Отец Владимир встретил меня радостно, но с напряжением. Будто ему неудобно за благополучие: дом, сад.. Да и я малость сник: кто я ему? Не друг, не брат... В придачу — нехристь.

— Ты в первый раз во Франции? — спросил отец Владимир.

— В четвертый, — похваляясь, ответил я и обмер: какого ж черта только сейчас его разыскал! Ведь так просто!

Из духовки раздался свист. В запеченной козлиной ноге торчал прибор типа отвертки — подавал сигнал о готовности мяса.

Я рассказывал про Веру Борисовну. Недавно она чуть не заморила себя лютым постом и тайком помирала в деревенской больнице. Меня чудом разыскала ее заместительница. Лешка-певчий набрал медикаментов в роддоме, где работал заведованием, и мы погнали в Тучково. Вера Борисовна лежала в вонючем бараке без сознания, дышала незаметно. Врача не было. Лешка долго не мог наладить капельницу: не попадал в вену — сосуды опали. В отчаянии он кольнул ее напропалую и — попал. Больные, колченогие старухи в тряпье сползались, как привидения, канючили: “Дай таблеточку...” После капельницы Вера Борисовна порозовела, открыла глаза, увидела нас и заворчала: “Только я к Нему собралась — тут вы опять!.. Снова меня на землю содите!”

Я вяло уговаривал отца Владимира вернуться в Россию: народ вроде очухался, религия встрепенулась...

— Отца Александра топором убили... — мрачно добавил отец Владимир, сбивая мой и без того несильный напор.

В ноги ему ткнулась небольшая белая кошечка с черной кипой на голове и розовыми голыми ушками, траченными еще подмосковными морозами. Он поднес ее к стене, забранной специальной рогожей. Кошечка прилипла как намагниченная.

— В Москву хочешь, Белка?

Кошка ответила тонким ультразвуком.

— Хочет... Тоже эмигрантка... — виновато улыбнулся отец Владимир. — Нет, Сережа, не поеду, поздно. Ношу нужно брать по плечу.

Разговор был окончен. Отец Владимир сел писать письма бывшим прихожанам — утром я уезжал. В саду закричал павлин. Ирокез повел меня купаться в самодельный прозрачный пруд, обсаженный березками и плакучей ивой. В холодной воде плавали крупногабаритные золотые рыбы. Они обнюхивали меня и равнодушно проплывали дальше.

На обратном пути меня не оставляла вязкая тоска по какой-то новой хорошей жизни, которая, по всему, должна бы наконец начаться, но ведь не начнется. Не только поп, ворон казачий русскоязычный из итальянской деревни и тот на родину не рвется, пропади она пропадом, русская сторона! Достала всех. И вдруг вспомнил. Как-то на всенощной во время чтения Шестопсалмия, когда тушится паникадило и все, склонив головы, замирают в торжественном полумраке, прибежала Панка Кобылянская, бабка из соседней деревни: “Нюрка подыхает — не того нажралась!” Вера Борисовна Панку не любила за притворство, завистливость, сухие слезы. Но корова — дело святое, и мы сорвались спасти Нюрку.

Раздувшаяся корова лежала на боку и уже не мычала, лишь жалобно всхлипывала. Вера Борисовна по-бандитски отбила у пустой бутылки донышко и горлышком засунула “розочку” Нюрке под хвост. Корова испустила протяжный задний выдох и стала на глазах худеть. Вера Борисовна брезгливо оборвала воющую Панку:

— Ты слезы-то не лей попусту, хвост держи, чтоб не поранилась.

— Какая вы умная, — восхитился я. — Вам бы образование.

— Следить за скотиной надо. — Вера Борисовна вытерла руки о Нюркин бок. — Хозяйство вести — не мудями трясти... — И передразнила меня: — У-умная... Дура столярсовая! Была бы умная — ушла бы с немцами... как девьки наши ушли.

Мы договорились с отцом Владимиром встретиться на следующий год в Иерусалиме: он возьмет меня в поездку по святым местам. Но я знал, что не поеду: какой из меня богомолец.

А Вера Борисовна все-таки к Нему ускользнула. Меня в Москве не было, так что мы даже не простились.